Река (сборник)

Автор:
Татьяна Толстая

Река (сборник)

Татьяна Никитична Толстая

В сборник вошли рассказы и новеллы Татьяны Толстой, как уже издававшиеся, так и новые. Интеллигентный и беспощадный разговор с читателем о приметах нашего времени, о России, русских и многом другом.

Татьяна Толстая

РЕКА

Рассказы

Мелкие вещи

Мороженое

Поезд «Москва – Питер» еще не тронулся, и коробейники толкали через вагон тележки с товарами: сканворды «Зятек» («расширяет кругозор»), – не соблазнюсь, кругозора хватает. Бутерброды с икрой от Де Бирса (1 икринка – 1 рубль). Не соблазнюсь. Пиво; сушеные кальмары, похожие на ороговевшую кожу с подошв. Не соблазнюсь. За ними шел вкрадчивый человек, приговаривая:

«Несравненное мороженое нашего комбината – пломбир „Ленинградский“, свежесть исключительная…» Соблазнил.

Я заглянула в короб. – «Знали ли вы, что на улицах продают мороженое вторичной заморозки?» – строго спросил соблазнитель. Я не знала. – «В процессе перевозки оно тает, и его вторично замораживают! Глазурь при этом сдвигается. Между стеночкой стаканчика и сливочным наполнителем образуется зазор! Обратите ваше внимание». Я протянула руку к пломбиру «Ленинградскому»: над ним зримо стояло силовое поле детства, когда цвел шиповник, дул ветер, ярко светило холодное солнце, цыганки торговали «раскидаями» на резинке и крашеным ковылем, и можно было идти прямо посреди улицы, потому что был «первомай», и кто-то из взрослых вел меня за руку во взрослое кафе «Ландыш», где давали мороженое в металлических вазочках. Если дохнуть в вазочку, то в ответ она дохнет волшебным северным запахом сливок, снега, сказок. Полжизни за этот запах.

Шоколадное, земляничное, черносмородинное с красным сиропом из неизвестно чего. Персиковое, коньячное – ну, это не для детей, – ореховое. Крем-брюле, кофейное, с изюмом. Скучное просто-сливочное, а можно мне двойной сироп? Мороженое привозили в металлических цилиндрах, которые, как нам объясняли, быстро крутились на центрифугах в соленой воде для правильного охлаждения, и эти цилиндры иногда протекали, и соль попадала в мороженое, на дно. Но там же, на дне, скапливались особенно щедро изюм, орехи или черносмородинные ягодки, и опытные чревоугодники специально дожидались, когда все мороженое сверху съедят обычные, нетребовательные люди и им, чревоугодникам, достанется самое вкусное, придонное. Но так как в жизни есть справедливость, то им иногда доставалась зато соль.

Ленинградское мороженое – едва ли не единственная вещь на свете, про которую не говорили: да разве сейчас делают как надо, вот раньше делали, вот до войны, вот до революции… Нет, так никто никогда не говорил, хотя раньше, понятное дело, все было лучше, и солнце и луна, а теперь уж не то. Нет, наше мороженое было лучшее на свете, здесь и сейчас, и никакой балет, никакие белые ночи, которыми так гордились, не шли в счет. Нигде в мире. Только у нас.

Пломбир «Ленинградский» был нехолодным наощупь, вялым. «Женщины обычно предпочитают рожок», – подсказал соблазнитель. Звучало как-то двусмысленно. Старичок рядом со мной зашевелился, покраснел и сказал: «Я тоже, с вашего позволения, предпочту рожок». Мы со старичком купили по рожку и, стесняясь

друг друга, быстро съели тающие, капающие трубки. Съели – и съели.

Зря, наверное. Пива надо было взять.

Стена

Кухня в гостиной – квартира без прислуги. Это не поговорка и не народная примета, а печальный факт, который осознаешь только тогда, когда, сломав все возможные перегородки, расчищаешь пространство так, как всегда хотела – чтобы без этих клетушек, – и, вдоволь налюбовавшись новыми ракурсами и нагулявшись по паркетным полянам, вдруг понимаешь, что либо ты, либо она.

Вот она приходит с дождя, в плохом желтом пальто. Ее сразу жалко, тем более что ее мужа недавно избили ни за что ни про что на загородной платформе, сынок служит на подводной лодке в холодных морях и неохотно пишет письма, а дочушка воспитывает ребенка без мужа. Все это она рассказала в подробностях, когда нанималась, и ее уже тогда было жалко, а теперь она в этом пальто, и надо бы отдать ей свое старое, которое без сносу, но надоело. Отдаешь пальто, отдаешь крепкие немодные юбки из чемодана и уж заодно акриловые кофточки эпохи гумпомощи 1992 года, которые никто никогда не носил, потому что это носить невозможно. Все, я пропала, Надежда Терентьевна благодарна мне по гроб жизни и выражает эту благодарность как умеет: громко, фальшиво-оживленно комментируя протекающую жизнь. Телевизор, естественно, включен: я пытылась отвлечь ее внимание от себя. На Камчатке, говорит телевизор, штормовое предупреждение.

«Ну?! Это что же делается?! Предупреждение! А? Это что же такое?! Что же это с погодой-то? Как же там люди?» – взывает Надежда Терентьевна. Я отрываюсь от компьютера и изображаю понимание и сочувствие половиной лица. Курс доллара, говорит телевизор, тридцать один рубль с копейками. «Это вот он растет и растет! Растет и растет! Что же будет-то?» – повысив голос, пытается угадать и угодить прислуга, хотя с ней ничего плохого не будет: нет у нее долларов, а я ей покорно и трусливо плачу столько, сколько она скажет. Тони Блэр, магазин «Снежная королева», Кармадонское ущелье, где был – пиво пил, – на все она отзывается. Режет лук – рассказывает, что она чувствует. Впрочем, я чувствую то же самое – кухня-то в гостиной.

Или гостиная в кухне?

Наверное, первый архитектурный план человеческого жилья естественным образом сложился в тот момент, когда наши продрогшие пещерные прадедушки, растирая замерзшие мохнатые руки, уселись в кружок вокруг огня, где уже шипел, зарумянивался и капал мясным соком мамонт. Очаг – в центре, вокруг него – неопределенно-жилое пространство, по углам – спальни. Ванная снаружи, течет себе среди камней и трав; сортир – повсеместно.

Прошли тысячи лет с того пещерного фондю, но по сути дела мало что изменилось: очаг первичен, а все прочее вторично. Человека тянет к источнику тепла и еды, а на огонь, как ивестно, никогда не надоедает смотреть, даже если это быстрый и злой жар микроволновки. Все доперестроечные, малогабаритные годы большинство из нас просидело на кухнях, хотя время от времени хозяева с запросами восклицали: «Давайте перейдем в комнату, как люди!» Но восемнадцать метров с зеркальным сервантом, раскладным диваном и полированным журнальным столиком еще не гарантия очеловечивания, тем более что хозяйка при таком раскладе вынуждена все равно бегать на кухню за чайником и салатами, пропуская самое интересное из разговоров.

Некоторые остроумцы с фантазией прорубили окно из кухни в гостиную, если квартирный план это позволял. Можно было просовывать тарелки и забирать полные пепельницы. Потом появились первые продвинутые и очень прозападные смельчаки, начавшие сносить стенку, разделяющую «жилую зону» и «зону приготовления пищи». Первобытно, демократично, просторно, по-американски. На месте рухнувшей стены, едва осела пыль, обозначилась Надежда Терентьевна.

«Чего я вас хотела спросить-то, – говорит она, ловко меся фарш и уничтожая росток моей едва зародившейся мысли. – Я вот думаю: зря это они. Я, конечно, человек простой, не знаю. Вы как думаете, а?»

Я не понимаю, о чем она говорит, я работаю, я думаю, я курю и смотрю в окно, сосредотачиваясь, и со стороны, наверно, кажется, что я считаю ворон, бездельничаю, тупо уставившись в пространство. Надежда Терентьевна считает, что меня можно и нужно возвращать к жизни, развлекать разговорами; работа для нее – это рубить и резать, размешивать и крутить, намыливать и отпаривать. Достойная, тяжелая работа, кухонная работа, тупо и молча выполняемая в

кухонном же пространстве. Главное – молча. Но стен нет, и перед ней – вот она я, расположившаяся в пространстве гостинном, там, где говорят, рассуждают и обсуждают. Я посылаю сигналы: «молчи, молчи», она – «говори, говори»; меня мучает ее голос, ее – мое безмолвие. Мы обе догадываемся кто из нас уйдет, а кто останется.

Ухожу я. В квартире мне негде скрыться: в спальне нет места для компьютера, в ванной тем более, а кабинета у меня нет – зачем мне кабинет, когда в гостиной так хорошо думается? Думалось бы, если бы не жужжание бесхитростной, работящей, не выносящей убийственной тишины Надежды Терентьевны.
Я брожу по улицам, я сижу у знакомых, я даже уезжаю за город. Я продумываю текст письма, которое я ей оставлю на стальном, стильном кухонном прилавке: «Дорогая Надежда Терентьевна. Сколько вам заплатить за ваше молчание? Имейте совесть. Это все-таки моя квартира».

Но на самом деле это давно уже ее квартира. Она жарит, гладит и пылесосит, моет окна и выбивает ковры. Она знает, где что лежит. У нее есть мои ключи, и она входит с дождя в моей одежде: в омерзительной акриловой кофточке, в затвердевшей в чемоданной могиле юбке, в надоевшем мне еще в прошлом сезоне пальто без сносу: карикатура на меня, такая, какой бы я стала, если бы мне от природы достались ловкие руки, крепкая спина, непритязательный вкус и малолитражный мозг. Она оживленно рассказывает, как соседи спьяну сломали им забор и как теперь чужие куры будут топтать ее грядки, а у них ведь еще собака, а Михалыч совсем совесть пропил, а дочь его в институте учится, правда, пойдет по плохой дорожке, это уж ясно: купила себе голубые замшевые сапоги, как у Ксении Собчак! А на улице магнитная буря, и голова ну так трещит, так трещит! А еще передавали, что солнце взорвется, и от этого такая была жара летом, и в огороде хорошо росло: все соседи закатали перцы. Я притворно сочувствую, но ее не обманешь, она слышит фальшь и пугается, и от этого говорит еще громче, отчаянно пытаясь вернуть меня в тот единственный мир, который кажется ей реальным. Куры Михалыча, покончив с грядками Надежды Терентьевны, топчут мой паркет. Мне хочется задушить ее свежевыглаженным кухонным полотенцем.

Сломав стену, я не просто уничтожила границу двух зон – я нарушила культурный и классовый баланс, я разорвала невидимые круги, очерчивающие мир хозяйки и мир прислуги, охраняющие их друг от друга. Я разрушила спасительную иерархию. Я открыла шлюзы, и чужие права хлынули на мою территорию, затопили ее и отравили. Уничтожив ограду, я потеряла контроль

над очагом, я потеряла пространство, потеряла время, потеряла право на труд и на частную жизнь. Перестав трудиться, я перестала и зарабатывать, и мне нечем было платить Надежде Терентьевне. Я уволила ее, и она ушла, с красными глазами, ничего не поняв.

А ведь нам могло быть так хорошо врозь!

Пустой день

Это утро не похоже ни на что, оно и не утро вовсе, а короткий обрывок первого дня: проба, бесплатный образец, авантитул. Нечего делать. Некуда идти. Бессмысленно начинать что-то новое, ведь еще не убрано старое: посуда, скатерти, обертки от подарков, хвоя, осыпавшаяся на паркет.

Ложишься на рассвете, встаешь на закате, попусту болтаешься по дому, смотришь в окно. Солнце первого января что в Москве, что в Питере садится в четыре часа дня, так что достается на нашу долю разве что клочок серого света, иссеченный мелкими, незрелыми снежинками, или красная, болезненная заря, ничего не предвещающая, кроме быстро наваливающейся тьмы.

Странные чувства. Вот только что мы суетились, торопливо разливали шампанское, усердно старались успеть чокнуться, пока длится имперский, медленный бой курантов, пытались уловить и осознать момент таинственного перехода, когда старое время словно бы рассыпается в прах, а нового времени еще нет. Радовались, как и все всегда радуются в эту минуту, волновались, как будто боялись не справиться, не суметь проскочить в невидимые двери. Но, как и всегда, справились, проскочили. И вот теперь, открыв сонные глаза на вечерней заре, мы входим в это странное состояние – ни восторга, ни огорчения, ни спешки, ни сожаления, ни бодрости, ни усталости, ни похмелья.

Этот день – лишний, как бывает лишним подарок: получить его приятно, а что с ним делать – неизвестно. Этот день – короткий, короче всех остальных в году. В этот день не готовят – всего полно, да и едят только один раз, и то все вчерашнее и без разбору: ассорти салатов, изменивших вкус, подсохшие пироги, которые позабыли накрыть салфеткой, фаршированные яйца, если остались. То ли это завтрак – но с водкой и селедкой; то ли обед, но без супа. Этот день

тихий: отсмеялись вчера, отвеселились, обессилели.

Хорошо в этот день быть за городом, на даче, в деревне. Хорошо надеть старую одежду с рваными рукавами, лысую шубу, которую стыдно людям показать, валенки. Хорошо выйти и тупо постоять, бессмысленно глядя на небо, а если повезет – на звезды. Хорошо чувствовать себя – собой: ничьим, непонятным самому себе, уютным и домашним, шестилетним, вечным. Хорошо любить и не ждать подвоха. Хорошо прислониться: к столбу крыльца или к человеку.

Этот день не запомнится, настолько он пуст. Что делали? – ничего. Куда ходили? – никуда. О чем говорили? Да вроде бы ни о чем. Запомнится только пустота и краткость, и приглушенный свет, и драгоценное безделье, и милая вялость, и сладкая зевота, и спутанные мысли, и глубокий ранний сон.

Как бы мы жили, если бы этого дня не было! Как справились бы с жизнью, с ее оглушительным и жестоким ревом, с этим валом смысла, понять который мы все равно не успеваем, с валом дней, наматывающим и наматывающим июли, и сентябри, и ноябри!

Лишний, пустой, чудный день, короткая палочка среди трех с половиной сотен длинных, незаметно подсунутый нам, расчетливым, нам, ищущим смысла, объяснений, оправданий. День без числа, вне людского счета, день просто так, – Благодать.

Прожиточный минимализм

Всего один раз я была в настоящей минималистской квартире, и все-то там было прекрасно: и чистые линии стен и проемов, и светлячковые козявочки лампочек, и молочно-туманные диваны в молочно-туманных объемах (комнат не было), и общее ощущение пустоты, простора, прохлады, покоя и еще многих понятий на букву «п». Как будто пришли и гигантским вантузом откачали все, что можно, до полного предметного вакуума: вот-вот самозародятся виртуальные частицы. Пейзаж портили только две вещи: непоправимый вид из окна (его завесили как могли, хотя помочь тут могла бы только водородная бомба) и сами хозяева. То есть муж был ничего (не сам по себе, а в плане дизайна): он был худой, весь в черном, в обливку, а голову побрил до сизо-седого подшерстка,

перекликавшегося с тусклым металлом дверных ручек (особое итальянское травление, около 150 долларов за штуку). Плохо дело было с хозяйкой: немолодая, одышливая, с красным лицом, в цилиндрических очках, кудлатая и широкозадая, бедная женщина оскорбляла взор каждый раз, что переходила с места на место. Все время казалось, что вот сейчас распахнется дверь, ворвется дизайнер этого дорогого, выверенного пространства, не выдержит и закричит: «А это еще что такое?!» – и вышвырнет инородный объект пинком за дверь. Фокус был в том, что квартира была построена и очищена от бытия именно на деньги хозяйки, муж пострижен и одет тоже, очевидно, по ее чертежам, и вообще она, как дама богатая и творческая, нарисовала себе мир так, как хотела, и отстаньте все от нее.

Интересно, что я знала ее и раньше, до ремонта, но никогда не замечала, как она некрасива. Впрочем, отразившись в зеркале убийственно элегантной ванной, я подивилась и своему собственному, внезапно обрушившемуся на меня уродству. Выходила из дома – вроде было терпимо, а часу не прошло – и, пожалуйте, – гамадрил.

Нет, нет, вон отсюда, прочь и долой, пока мы во плоти – минимализм не для нас. На том свете – сколько угодно, я первая – за; на том свете, где молочно-туманное перетекает в туманно-молочное, где нет тяжелого дыхания любви или ярости, где не давят воспоминания, где не валяются любимые ободранные предметы, где нет деревянных рамочек с дорогими, никогда не отличавшимися красотой лицами, где не охают варикозные бабушки, превратившиеся в струящихся сильфид («Куда я иду?» – спросила Русалочка. – «К Дочерям Воздуха!» – отозвались голоса), – на том свете я обеими руками, которых уже не будет, за минимализм. Здесь же, по эту сторону материи, частью коей я пока худо-бедно являюсь, я не хочу пустоты. Я хочу насытить глаза хламом, тряпьем, мебельным целлюлитом, отеками и припухлостями, я хочу развалиться, навалиться и привалиться, а ноги завернуть винтом вокруг ножек стула; руками я хочу дергать и перебирать какую-нибудь бахрому, я хочу, чтобы ненужные вещи, купленные просто так на барахолках мира, были свалены на какой-нибудь стол или комод и мирно на нем уживались; я хочу, чтобы лампочки перегорали, обивка пачкалась, розы засыхали, а на стеклах зимой вырастали перистые морозные узоры. И между рам чтоб лежала муха.

Минимализм труслив: он боится живых и кривых вещей, он неспособен примирить между собой предметы разных стилей, и потому выбрасывает их. Минимализм совершенен, и человеку, существу несовершенному, в нем неловко:

по-хорошему, надо бы иметь, скажем, только одну ногу, гибкую, металлическую, а у человека их две. Надо, скажем, иметь маленькую стеклянную голову, а у человека на шее вон что. Кожа, например, должна быть из новых высокотехнологичных материалов… эх!

Лунный пейзаж, внутренность дзэнского храма, арктическое безмолвие прекрасны, но они не для меня. Отойду в сторонку и на колченогом табурете, расстелив газету, крупными кусками нарежу себе к ужину диспетчерской, троллейбусной колбаски.

Битва креветки с рябчиком

Битва креветки с рябчиком в сегодняшней русской кухне закончилась полной победой креветки. Чужое море победило блеклые и облачные среднерусские небеса, и холодные гады морские вползли на наши столы и вытеснили из наших сердец некогда столь милых птичек. Рябчики, дупели, перепелки, глухари и тетерева кажутся сегодня почти такими же сказочными персонажами, как птицы Сирин и Алконост. Креветки, омары, устрицы, мидии и друг морей тунец правят бал, причем все чаще являясь на этот бал голыми и холодными, как сиротка в рождественский вечер. Купец у Островского заказывает «вальдшнепов жареных в кастрюльке», сегодняшний московский купец просаживает состояние в суши-баре, убедив самого себя, что ему вкусно. Нет, я верю, верю, что ему вкусно, – в конце концов и после сеансов Кашпировского калеки отбрасывали костыли и пускались в пляс: такова сила самовнушения.

Удивительно другое: где источник этого самовнушения и почему новая Россия вновь поворачивается лицом, чтобы не сказать желудком, к Востоку, по-новому отвечая на вопрос, заданный ей в свое время Владимиром Соловьевым: «Каким ты хочешь быть Востоком, – Востоком Ксеркса иль Христа?» Сегодня Россия хочет быть Востоком Акиро Куросавы, Ямамото и «Мицубиси». Широк русский человек! В прежние времена самой дальней границей наших аппетитов был Китай, и, видит Бог, мы взяли у жителей Поднебесной лучшее, что у них было, – чай, превратив его в наш национальный напиток. Ни одного из классических, любимейших китайских лакомств мы при этом не позаимствовали: ни медвежьи ладоши, ни мозг живой обезьянки, ни соловьиные язычки не соблазнили наш маленький трудолюбивый народ. Только эксцентрики от любовного отчаяния

решались на какого-нибудь трепанга или супчик из акульих плавников, подобно Ваньке Морозову из песенки Окуджавы: «А он медузами питался, // Чтоб той циркачке угодить, // И соблазнить ее пытался, // Чтоб ей, конечно, угодить».

Казалось бы, кому, как не нашему народу, питаться медвежьими ладошами и соловьиными язычками при таком-то изобилии берлог и гнезд? Но что-то мешает нам поедать «певца любви, певца моей печали», – наверное, именно любовь и печаль. А на рябчика и дупеля, птиц немузыкальных, наша печаль не распространяется. Так что хотелось бы их хоть раз попробовать.

Русской кулинарии – как и русской культуре в целом – свойственно заимствовать и перерабатывать все достижения чужих культур, придавая чисто русское своеобразие всему пересаженному на нашу почву. Мы заимствовали квас из Скандинавии, и что же? – одни мы его и пьем, а скандинавы с изумлением и недоверием обходят свой родной напиток стороной. Мы заимствовали «макарони» из Италии, но они не стали «пастой», а превратились в «макарошки», совершенно особое русское блюдо, которое достают вечером из холодильника и разогревают на сковородке – технология, неизвестная на Аппенинском полуострове. Мы заимствовали гречку, – судя по имени, из Греции, ее другое название «сарацинская крупа», но так, как едим ее мы, ее не ест никто. Она настолько обрусела, что словом «каша» иностранцы обозначают именно гречку, хотя каш, как мы знаем, много.

Невидимые границы национальности, вещи загадочной, но несомненной, обозначены и обрисованы вкусом, и это верно как для музыки и архитектуры, так и для гастрономии. Прекрасны готические соборы, но стрельчатые шпили и прозрачно-цветные окна у нас не получаются, не вписываются почему-то то ли в пейзаж, то ли в душу. Нам милее мягкие, покатые линии, дома, расплывающиеся вширь; наши купола – луковицы да репки, свеклы да редьки, их мы едим, на них и крестимся. Нас манит новизна дальних земель, мы всё, конечно, перепробуем, но не всё примем как свое. Русский человек, безусловно, не откажется от курицы с ананасом, опознав в ней троюродную сестру гуся с яблоками, но – руку на сердце положа – не станет готовить ее дома, для себя, как не станет ходить в собственной квартире на каблуках-шпильках, когда никто не видит.

Но ведь нет среди нас тревожных безумцев, которые посыпали бы вареную картошку кокосами. Это мучительное для русского человека блюдо кхмерской кухни называется «едой ангелов», и в этом-то, наверно, все и дело: ангелы на Руси другие. Если в Индокитае ангелы пропахли имбирем и кокосом, если

средиземноморские ангелы не расстаются с чесноком и маслинами, если слепой американский ангел ест картон и вату, то у наших тут, у местных, в лукошках лук и клюква, яблоки, хрен и грибы.

Японцы, хранимые своим собственным водоплавающим ангелом, превратили скудость в добродетель и возвели бедность в ранг поэзии. Маленькие стишки, которые столь же приятно произносить, сколь и рассматривать, в тарелках оборачиваются маленькими сверточками, похожими на подарки карликам: кашка завернута в травку и украшена сырой рыбкой. В суповой мисочке – детское, игрушечное море: солоноватая водичка и кто-то маленький с глазками.
На блюдечке – садик.

Кажется, эта кукольная, резко иностранная еда никогда не будет одомашнена нами, ее слагаемые не обрусеют: мы не будем заправлять картошку водорослями, намазывать на бутерброды соевую пасту или добавлять квашеный лотос к пшену. Что-то нам мешает.

По-моему, мы ходим в японский ресторан как в открытый космос: страшно, но любопытно, и надо доказать, что мы можем. Конечно, можем. «Грибы ядовиты, но русские их едят», как сказано в одной немецкой энциклопедии. Знай наших!

Но мне и вправду хочется знать наших. Мне хочется, чтобы на всякую хитрую креветку нашелся рак с винтом: мы словно забыли, что русские раки – достояние не только пивных ресторанчиков, но и самого утонченного стола: раковый суп не уступит крабовому, рак настолько же возвышеннее омара, насколько юная девушка привлекательнее зрелой матроны.

Мне хочется, чтобы вернулись на правах коренных жителей грибы, не равнодушные промышленные шампиньоны, штампованные как гамбургеры, а настоящие, лесные, с прилипшим к шляпке листочком и небритой, как подбородок Леонида Парфенова, ножкой.

И мне хочется, чтобы в нашу кухню вернулись птицы небесные, с их темным мясом, пропахшим нянины сказками и еловыми шишками. Чистые, вольные, надышавшиеся воздухом диких лесов, насмотревшиеся с высоты на всю нашу прекрасную, просторную страну красными бусинками глаз, побежденные в равной борьбе, веселые до своего последнего мига и передающие свое веселье, свою радость жизни и нам, грешным и благодарным обжорам.

Кино

Я отчетливо помню момент, когда я разлюбила театр. Вернее, когда мои старания его полюбить были окончательно перечеркнуты. Было мне лет двенадцать, и наш класс сдуру повели в плохой питерский театр на плохую, мертвую постановку «Маленьких трагедий» Пушкина, – а вот не надо водить детей чувствительного возраста на бездарные спектакли, да и Пушкина лучше в театре не ставить, – мало ли что текст написан как пьеса. Не пьеса это вовсе.

Я очень, очень старалась полюбить зрелище, как мне велели: ведь это Пушкин, Большое Искусство, это Храм, Особая Атмосфера, и я должна испытывать Священный Трепет, но помнить при этом, что в Театре есть Театральные Условности. Я помнила, но когда пожилой дядька в камзоле с пышными рукавами, с большим бархатным животом, колыхавшимся над тоненькими мужскими ножками, грозно, как классный руководитель, вопросил: «Скажи, Лаура, который год тебе?» – и грузная тетенька гавкнула в ответ: «Осьмнадцать лет!» – ужасное смятение и стыд смяли меня. Мои одноклассники захрюкали. «Прекратите!» – зашептали взрослые Ценители Прекрасного. «Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец! А ты – ты дура!» – крикнул дядька с такой силой, что при слове «дура» из его рта вырвался огромный конус слюнных брызг, как на противогриппозном плакате в поликлинике: «при кашле – до 1 метра, при чихании – до 3-х». «В дупель пьяный», – обрадовались мальчики. «Чшшш!» – возмутились Ценители. Тягомотина все длилась, потом Дон Гуан с Командором благополучно и нетаинственно провалились, и я думала, что уже всё, но оказалось – антракт, а потом еще столько же. К сожалению.

А ведь в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли нарядные люди, окна были укутаны шторами из парашютного шелка, будто кучевыми облаками, у буфета богатые люди пили шампанское и с достоинством ели дорогие бутерброды с твердокопченой колбасой, – да, Храм. Наверно. Но не мой, и боги – не мои.

А вот совсем другое дело – кинотеатр «Арс», плохонький сарайчик на площади Льва Толстого. Там неудобные деревянные сиденья, там сидят в пальто, там проносят в зал мороженое в рукаве, и оно капает на ручки кресел, там мусор на полу. Там не встретишь «завзятых театралов», принаряженных дам, заранее

оскорбленных тем, что они вынуждены провести три часа плюс антракт в обществе профанов, там надо цепко держаться за карманы, потому что тебя запросто обчистят в этой плебейской, базарной, лоскутной толпе. Там – всем на смех – выгоняют взашей пьяного, заснувшего на предыдущем сеансе и совсем не желающего выметаться вон, под дождик. Потом там гаснет свет, зажигается луч, минут десять тебя терзают киножурналом, – гордятся какие-то ткачихи, животноводы, всякая такая скукотень, только разжигающая нетерпение, – и опять краткий свет, и еще толпа вваливается и рассаживается, гремя сиденьями, – вонь от покуривших, перегар от непросыхающих, кислый запах псины от сырых пальто. Сейчас начнут. Это – счастье. Это – кино.

Они гасят свет медленно – у них реостат. Стрекотание проектора, удар луча и – всё, понеслось, перейдена черта, пройден этот неуловимый миг, когда плоский и туповатый экран – раз, и исчез, и стал пространством, миром, полетом, – сон, мираж, наркоз. Преображение.

В этом щербатом и нечистом «Арсе» я смотрела «Человека-амфибию», и ни за что не буду пересматривать, чтобы не разрушить колдовство, не рассеять морок далекого 1962 года. Хороший ли фильм? Что мне за дело! Пусть так и стоит перед глазами волшебное лицо Анастасии Вертинской, волнующе утонувшей (но сейчас ее спасет Ихтиандр), и красная (кажется) маечка ее, и зеленая (кажется) морская вода, простая советская вода, выдаваемая за далекую и иностранную.
В этом «Арсе» я смотрела скучный фильм «Такова спортивная жизнь», – не помню про что, думаю, про спортсмена, забросившего свою любящую жену ради спортивной карьеры, а потом горько о том пожалевшего, – про что же еще? Помню только одну сцену: жена собралась помирать, утро, и на стене возникает огромный черный паук. И спортсмен – хрясь этого паука кулаком! И рыдает.
И точно, она умерла. Дома я рассказала про то, как это было тревожно и неприятно, и мне объяснили, что это такая метафора. По примете, «L’arraignee du matin – chagrin», то есть, «Утренний паук – к несчастью». А вечерний паук сулит надежду. А дневной – любовь. А ночной – скуку. И с тех пор сутки для меня навеки распределены между пауками.

А потом в том же «Арсе» мне плюнули в душу – показывали какую-то голливудскую дешевку, и мало того, что красавица вдруг запела (мюзикл! убить!), но она еще и стала рвать откровенно бумажные цветы, предварительно воткнутые в отчетливо тряпичную траву! Подделка! Надувательство! Так важнейший сон с откровениями о смысле мироздания прерывается вульгарным звонком будильника. Мираж пропал, все сгинуло: я просто сидела в грязноватом

зальчике, набитом чужими людьми – как меня сюда занесло? Прочь отсюда, меня обидели, скорее домой – сквозь всегдашние моросящие сумерки, мимо магазина «Рыба», через поповский садик с пьяницами, через трамвайные рельсы, через деревянный мост, в обычную жизнь. Чудо, граждане, отменяется по техническим причинам. Прах еси, и в прах возвратишься.

Ведь я простой и примитивный кинозритель, как большинство людей. От кино я жду полного преображения, тотальной иллюзии, окончательного обмана – «чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда». Театр на это не способен, да и не претендует. Он для взрослых, а кино для детей. Театр для тех, кто любит живых актеров и милостиво простит им их несовершенства в обмен на искусство. Кино – для тех, кто любит тени, сны и чудеса. Театр не скрывает, что все, что вы видите – притворство. Кино притворяется, что все, что вы видите – правда. Простая и единственная жизнь обычного человека пресна без добавок, поэтому одни пьют шампанское «брют», другие нюхают клей. Не все ли равно? Мне клею, пожалуйста.

Золото

Про золото ничего понять нельзя. Оно всем нравится, всему человечеству, – и китайцам и европейцам, а уж жителям Малой Азии как нравится! Кажется, что золото и Восток неразделимы: зной, гордыня, роскошь, жестокость, искушение, опьянение земной властью, ненасытность, – это все одно и то же, это золотовосток. В Индии – если учесть, наряду с золотым запасом страны, все цацки, – больше золота, чем в американской казне. В Омане двери одного из банков покрыты золотом, – нате! Самое древнее золотое украшение сделано в Шумере 5000 лет назад – там же и примерно тогда же, когда было изобретено колесо. Золото – это солнце, а серебро – луна, все согласны, никто не спорит, алхимики хорошо это знали. Золото и серебро: свет и тень, мажор и минор. Золото – веселье и жизнь, серебро – грусть и умирание. Золото – жара, юг, день; серебро – холод, ночь, север. Золото – лето, серебро – зима; золото – песок, серебро – снег. Золото – смех, серебро – слезы.

Серое сумеречное серебро задумчиво, и все, что с ним связано, уводит к пониманию, вопрошанию, гаданию, к тайному знанию, к поискам смысла и причин. Сова Минервы – богини мудрости – вылетает ночью; гадают после

захода солнца; тоскуют и воют при луне, просыпаются с сердцебиением и предчувствиями. Кто я? Куда иду? Что будет?

Золото глуповато, как вообще глуповата радостная и здоровая юность, не ищущая ни цели, ни смысла, ни счастья, потому что они уже есть здесь и сейчас. Счастливые часов не наблюдают, время не течет, пространство – это я в мире, а мир во мне. Быть – вот высшая радость. Не сомневаться, а ликовать. Золотой век цветет и плодоносит, серебряный – печалится и оглядывается.

Мало в чем люди согласны друг с другом, но тут уж всем консенсусам консенсус: золото лучше серебра. Все самое прекрасное – золотое: золотое сердце, золотые руки, эх, золотое было времечко! – и далее по списку до бесконечности. И дело не в том, что золото встречается в природе реже, и не в том, что оно так уж дорого, – были в свое время вещи и подороже: тюльпаны, корица, черный перец горошком, а платина сейчас в два раза дороже золота, только кого обрадует платина? – разве финансиста какого-нибудь. Вещь ценная, вещь нужная, но ни глаз не развеселит, ни в зависть не вгонит.

Советский марксисткий зануда 60-х скучно пишет о золоте: «Отражая отношения людей в условиях стихийного товарного производства, власть З. выступает на поверхности явлений как отношение вещей, кажется натуральным внутренним свойством З. И порождает золотой и денежный фетишизм… Страсть к накоплению золотых богатств растет безгранично, толкает на чудовищные преступления». Вот именно что безгранично! Ох, на чудовищные! Потому что власть золота никакими унылыми товарно-денежными отношениями не объяснить, оно сводит человека с ума, завораживает, зачаровывает, слепит, его не бывает мало, простое народное сердце рвется к нему, веселится, радуется даже поддельному. Над златом – чахнут, отказываются от еды и питья, все готовы отдать за него, убивают, стирают царства с лица земли. Выше него – сразу – только бог, жизнь и любовь, и потому, не жалея, не считая, знать ничего не желая о «стихийном товарном производстве», его жертвуют в храмы, – сдирают с пальцев кольца, выпрастывают тяжелые серьги из ушей, смиренно подносят цепочки, браслеты, кувшины и шкатулки, моля о выздоровлении, благодаря за спасение того, кто вернулся невредимым, за то, что чудо снова случилось.

Золото беспричинно: мы его не заслужили. Нельзя жить без азота или водорода, зачем-то нужны в таблице Дмитрия Ивановича дремучие хассий и гафний, без кальция мы шагу не ступим, – осядем наземь жидкой кучкой, но золото

просыпано на нас просто так, от небесных щедрот, шутки ради. Оно ни вредно, ни полезно, практической пользы от него – кот наплакал. «Используется для тонирования фотографий» – а не тонируй, и дело с концом. «Входит в ряд медицинских препаратов» – входит, но не лечит. Но зато оно есть всеобщий эквивалент, тот общий аршин, которым мерят все, самый удобный, красивый, желанный, портативный, нержавеющий аршин на свете. Словно бы Творец в бесконечном остроумии своем решил: а дам-ка я им такую штуку, чтобы не гнила, не портилась, не тускнела, такую, чтобы с ней не скучно было, чтобы каждый ее желал, искал, берёг, играл с ней, выделывал из нее фигурки и висюльки, коробочки и шапочки, надевал на пальцы, вставлял в нос и в уши, – ведь они же дети, чистые дети!

Человек в одиночку много золота на себе не унесет. Тонна золота – это куб с ребром 37 с четвертью сантиметров. Под кровать влезет, только кто сдвинет ногой с места тонну? За всю мировую историю добыто примерно 150 тысяч тонн золота. Это цена 20-ти российских бюджетов. Из этого количества можно изготовить пять Эйфелевых башен. Или рельсы длиной в расстояние от Москвы до Петербурга. Чтобы перевезти его, понадобятся 70 железнодорожных составов по 40 вагонов в каждом. А можно всю эту красоту взять и пустить на позолоту: например, покрыть ею шестиполосное шоссе вокруг экватора.
А можно, наоборот, вытянуть золото в проволоку толщиной 5 микрон, – два километра этой проволоки весят 1 грамм, цена одного грамма около 19 долларов, меньше, чем бутылка хорошего вина, – и обматывать земной шар до посинения. А можно выковать прозрачный лист и читать через него книгу.

Можно заменить в автомобиле все хромированные части – руль, пепельницу, прикуриватель – на золотые, как делал Элвис Пресли. А можно, как индейцы исчезнувшего племени чибча, ежегодно с криками радости бросать в воды горного озера сотни золотых украшений несметной цены.

Ведь про человека, как и про золото, ничего понять на самом деле нельзя.

И сбоку бантик

Завалив антилопу, лев не раскладывает ее на порционные куски, не украшает хорошенькими веточками, не посыпает специями – хотя бы они и росли тут же на

соседнем кусте. Просто жрет, возясь окровавленной мордой в каркасе. А за львом уже толпится очередь: гиены, стервятники, мухи. Все сурово, без нежностей. Твоя смерть – это моя жизнь. Пищевые цепочки. «Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы».

Конечно, страшно, когда едят тебя или твоего товарища. Вот и слоны горестно трубят, когда одного из них подстрелят. И бегемоты собираются в круг и смотрят на погибшего друга, раздираемого подоспевшими гиенами, и нам более или менее понятно, что делается в их душах: они перекошены. И мы с некоторым смятением смотрим на это дело в телевизор, а потом идем на рынок и просим телятины килограмма так на два. Или цельного молочного поросеночка, беленького амурчика с детской улыбкой. И нам иногда бывает неловко, и мы раздумываем, не стать ли вегетарианцами, – говорят, оно и полезней, – а самые чувствительные из нас жалеют и траву, и растения, и морковку: жила она своей тихой подземной жизнью и было ей спокойно и хорошо, а мы набросились, вырвали ее из родного домишка, и – ножом ее, кипятком ее, зубами!

Разум может сколько угодно говорить нам, что это ничего, что есть фауну и флору можно и нужно, – да мы только и делаем, что едим, – но нечто другое, имени чему не подберу (какой-то подвид совести) все время тихо стучится изнутри, не то, чтобы укоряя, но напоминая нам о цене нашего чревоугодия, да и просто о цене насыщения. Уважай чужую жизнь, ты не гиена. Да, плоть поедает плоть, это закон, но помни: они – страусы, устрицы, кролики, щуки, гуси – тоже жили и радовались. Поблагодари их, проводи их туда, идеже нет ни печали, ни воздыхания, праздничной церемонией, прекрасным ритуалом. Они отдали свою жизнь, чтобы твоя продолжалась, так укрась же их, пригласи людей своего племени, справь почетную тризну.

Мы далеко ушли от первобытных народов, верящих, что «в древние времена деревья и животные были людьми», но отголоски этой культурной прапамяти явственно звучат за каждым накрытым столом. Не оттого ли селедка под шубой всегда выкладывается в форме свежей могилы и украшается – вдоль несуществующего хребта усопшей – длинной майонезной волной, словно бы в память об океане? Не оттого ли поросенка собирают как праведника в рай, обкладывая лимонными кружочками и кудрями петрушки? (Никто же не станет есть эту петрушку, да и лимон отдвинут вилкой: это не для сытости, а исключительно для неземной красоты, – пусть поют арфы, и девы в белом укажут невинному путь в Эдем.) Курам-дурам в дорогих ресторанах устраивают

на спине шахматную доску из цветного желе, зеленого и красного, хотя при жизни они ничем вроде бы не заслужили такого к себе отношения. Бараньей ноге, на то место, где кость, надевают белую гофрированную розетку, словно невесте. А всякий, кто вперял взор в недвижные воды рыбного заливного, не мог не задуматься о том, как наконец уютно и спокойно осетрине после всех страстей и бурь в этой тихой, прохладной заводи.

Как и всякое искусство, кулинарный дизайн знает различные стили – барокко там или минимализм, – а также имеет своих пошляков и бездарей, охотно и бессмысленно работающих в любом стиле. Все мы уныло ковыряли «гарнир сложный» в вагонах-ресторанах, – вся сложность там в том, что какой-то садист зверски замучал половинку соленого огурца, пытаясь превратить его в розу. Все мы, опять-таки, чувствовали себя голодным журавлем в гостях у лисы, пытаясь отскрести вкусные, но недоступные малиновые или шоколадные нити с десертной тарелки (сами знаете где), – дизайнер забыл, что тут кафе, а не музей Гуггенхайма. И самое ужасное, на мой вкус, – это когда перед тем как взяться за еду, нужно вытащить из блюда натырканные туда шпильки, палки, зонтики, серебряные звезды, шарики и прочие не относящиеся к делу предметы.

Простые люди уважают тех, кого они съели. Никто никого ничему не учит, рука, движимая сердцем, сама тянется украсить блюдо: расстелить коврик, насадить садик, замостить дорожку колбасными кружочками. Клумбы, пирамиды, курганы, затейливо украшенные подручной зеленью, сами по себе возникают на самых простецких, самых непритязательных столах. Там где семья, там где любят, там, где гости – непременно воткнут вишенку или оливку на вершину салатной горки. И напротив, там где едят винегрет из тазика, холодную котлету из банки, колбасу на газете – там уже шатается призрак одиночества, социального распада, свинства, горького пьянства, кочевья, печали и поножовщины.

Это – путь назад, путь из людей. Но не к животным, а мимо: животные нас к себе больше не пустят. Вход рубль, выход – два.

На природу

Польза, конечно. Воздух, например, – все городские люди ссылаются на этот воздух, и всегда с одинаково восклицательной интонацией, или же в ужасных поэтических выражениях. «Напоенный» чем-то там. «Ароматами трав». «Целебным настоем сосны» – как вам? «Медвяным духом полей» – за это вообще надо приковать наручниками к батарее и лупить, лупить томиком стихов члена Союза Российских писателей, желательно вологодского отделения.

Все это ложь и парфюмерия, так же как и все эти наши шезлонги, вынесенные на солнышко, кофеи на веранде с окнами, распахнутыми, понимаешь ли, в сирень, пикниками на курчавой травке, хорошо построенными мангалами, спиралями от комаров. Все это – попытка уговорить и заговорить то непонятное, страшное, шумящее – или молчащее; дующее в лицо – или приблизившееся и вставшее за спиной. То, что отгоняешь, то, что непременно придет.

Звездное небо придет и ляжет; душе страшно от звездного неба. Но сначала мир потемнеет и отсыреет, отступит, и замолчит, и уйдет в себя. Лютики там какие-нибудь, – это они днем лютики, это они в детских песенках лютики, а ночью-то, а на самом деле-то они кто? И в чем их собственный, немой, для себя самих, смысл? Не в том ведь, чтобы позировать для портрета на эмалированном чайнике? А трава? А розы? Ведь они нас не любят, розы; им даже не плевать на нас, им никак, им все равно, это мы водим вокруг них хороводы, – два притопа, три прихлопа, – мы, дебилы природы, забывшие ее язык, не знающие ее цели, не понимающие зачем раскручивается бело-розовой набегающей спиралью волшебная девочка сада, и почему она, ничего не слыхавшая о фрактальной геометрии, о множестве Мандельброта, вертит и вертит свою благоухающую математику, а уже сумерки, уже сыро, уже от свежескошенной травы потянуло крепким запахом марганцовки.

Подстричь газон. Зажечь тусклые садовые фонари. Запереть калитку, спустить собаку, отгородиться от всяких тут подозрительных людей; накопить денег на высокий кирпичный забор и охрану. Не поможет: никуда не скрыться от травы, от беззвучного рёва звезд, от розы, делающей свое непонятное дело. Да ведь ради них вы и покупали дачу, волновались, торговались, досадовали, выясняли и торжествовали. Будем воздухом дышать! Свежим воздухом! К природе поближе, к букашкам!

Мы бежим из городов, бежим прочь от замученности, от скученности, от потных буден, от свалявшихся волос, от темных пятен под глазами. Бежим далеко, в бесконтактные поля, в безответные луга, добегаем до белого дома у синего

моря: вот где мы хотим жить! Чтобы и поэзия с кокосом, и пляж с полотенчиком! А вечером белое вино… И еще белое вино, и потом еще и еще… чтобы залить весь этот подступающий ужас, чтобы не смотреть на страшное, чтобы забыть про гулкий звездный храм, про жуткий шорох морей, про оцепенение гор, забыть, что висишь на тонкой ниточке, в непоправимом одиночестве, в пустыне природы, и что ни жук тебе не друг, ни кальмар не товарищ.

Господь вызывает человека, жалкую и возлюбленную тварь свою, на переговоры в пустыню. Господь выходит из сумерек и стоит у нас за спиной. Господь назначает нам свидание с лютиком – оглушительное свидание без слов, глаза в глаза. Господь ложится травой под ногами, дует ветром, лает собакой, бьет волной о берег, бежит облаком, снится сном, льется вином. Остальное – тайна переговоров.

Мелкие вещи

В начале 60-х к нам домой приходили два папиных аспиранта-физика, китайцы Лю Шуньфу и Сюй Сюйюн, само собой, неотличимые друг от друга: росточка детского, верхние зубы нависли балконом, очки на подслеповатых глазках, все время смеются, все время немножко кланяются – от застенчивости, вежливости, иностранности и вообще пятитысячелетней культуры. Лю Шуньфу и Сюй Сюйюн изобрели всё: бумагу, порох, шелк, компас, рисовые колобки и иероглифы, хотя по ним это совсем не было заметно. Сквозь дверь папиного кабинета слышно было, как они разговаривают про «интерференцию красных полос». Наверное, они изучали спектральный анализ. На Новый год – случавшийся у них в самое неожиданное и неподходяшее время – они приносили маленькие подарки, ни на что не похожие. Потом они уехали к себе. Потом у них случилась культурная революция, и их убили – как буржуазных спецов, за излишнюю ученость. Хотя ученые, говорил папа, из них были невеликие.

От них остались маленькие вещи: костяная коробочка величиной с палец, со сдвигающейся крышкой, и внутри – квадратная печать с иероглифом и корытце с пачкательной краской карминного цвета. Два дня мы штемпелевали все подряд, оставляя на тетрадках и обоях след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке, потом забросили. Еще была круглая прозрачная коробка, в которой на шелковом ложе лежала тряпичная роза,

надушенная душным, плотным без просветов сладким запахом, который никому не понравился, так что она валялась без дела в шкафу и пахла наедине с собой следующие сорок лет. Еще были пять крошечных лаковых шкатулок, вкладывавшихся одна в другую: оливковая, синяя, морской волны, красная и розовая. Мне досталась морская волна, хотя она сразу треснула, и это было нечестно. Шкатулки были черными внутри, с золотой сыпью и невесомые – рука не чувствовала тяжести. Нам объяснили, что шкатулки эти делают из одного только лака, слой за слоем, и никакого дерева там внутри нет. И через трещину в крышке я видела, что это и правда так, что вещица сделана, таинственным образом, из пустоты, из ничего, из черного позолоченного воздуха.

А иероглиф, таким же непостижимым образом, содержал в себе папино имя и фамилию: вот эти крохотные палочки и черточки, окошечки и подпорочки складывались в длинное имя – целый мир в одном, одновременно взъерошенном и аккуратненьком рисунке.

Наверно, все это была дрянь, ширпотреб эпохи дружбы с великим кормчим Мао, но ширпотреб драгоценный, выбранный и подаренный «детям Учителя» с любовью. Тогда у многих в домах были китайские вещи, но всё не то: термосы, эмалированные тазики да полотенца, причем одного и того же цвета и рисунка: мятно-зеленые с ярко-розовой камелией, или что там у них растет. А сквозь аспирантские игрушки просвечивали все пять тысяч лет, весь огромный, далекий, непонятный континент, где живет народ, который изобрел все на свете, кроме вилки.

Во время «культурной революции» великий китайский народ сам себя истребил – не он первый, не он последний, конечно, но от этого не легче; не всех, конечно, – какой-нибудь неполный миллион, – да его уже не вернешь. Уничтожены были самые лучшие, самые образованные, самые знающие, те, от которых тянулась крепкая шелковая нить в прошлое. Кого не разорвали в клочья, тех выслали в горную глушь, в бесплодные районы: воть пусть помашут мотыгами, пусть засеют камни рисом, вот и будет им «интерференция красных полос»! А еще, чтобы неповадно было умникам отрываться от народа, снесли бессчетное количество памятников, храмов, переломали кучу старинных вещей, сожгли древние книги, раздробили в труху, в мелкую пыль плоды чужих трудов, любви и терпения – ибо невыносимы для плебса свидетельства того, что кто-то бывает умнее, талантливее, духовнее, выше, да просто лучше.

…Когда-то мир был таинственным и неоткрытым, еще лет сто назад путешествие было волнующим событием, в Грецию ездили не для того, чтобы загорать, а для того, чтобы «прикоснуться к истокам европейской цивилизации», чтобы испытать эту особую дрожь: вот оно, подлинное, настоящее, уникальное, случайно сохранившееся, выпавшее из тьмы времен прямо ко мне под ноги. Сейчас оно снова уйдет, рассыплется, сгорит на свету, распадется, как фреска в феллиниевском «Риме»; сохранить его, уберечь, утащить в музей, запереть в четырех стенах! Англичан упрекают в варварском растаскивании греческих древностей – да, было такое дело, но ведь украли, чтобы любоваться, чтобы сохранить, чтобы не испортилось, а турки вот использовали Парфенон как склад боеприпасов, с соответствующими последствиями – две с половиной тысячи лет простоял, а потом шарах! – и несколько попортился. Есть разница между вором и варваром, и – да, вор мне все же милей.

А сейчас мир, к сожалению, почти весь открыт, исследован, прочесан и проутюжен. Есть робкая надежда на то, что в африканской глуши вас съедят, но шампуры для шашлычка будут промышленного производства. Остается еще непройденная сельва в Южной Америке, но вряд ли там под плотной листвой и лианами таится неизвестная миру сногсшибательная культура. Разве что какая-нибудь радужная жаба да ядовитая муха дружелюбно ждут своего исследователя.

Вся экзотическая, далекая красота, которую мы тащим в свои дома в тоске по дальним странам и канувшим временам, сделана в Тайване. Все плетеное, вышитое, грубо сколоченное, резное изготовляют – быстро и точно – промышленные артели. Для знатоков – натуральное и неотличимое от оригинала, для тех, кто попроще – синтетическое, пластмассовое. Для тех, кто живет только сегодняшним днем – прозрачные шарфики «под зебру» и леггинсы «под леопарда». Больше нет и не будет уникального, не спеша сделанного, веками отработанного, ни на что не похожего. Глобализм, индустриализация, то-се. Очень удобно, очень тоскливо.

Ничего хорошего о человечестве в целом говорить не приходится: убивают и ближнего и дальнего, изводят на нет целые народы. Если и есть такая нация, которая никого из соседей не потрепала, то либо силенок не хватило, либо соседей не было. Но в каждом народе есть люди сберегающие и люди разрушающие. И среди разрушающих есть убийцы людей, и есть убийцы вещей. Те, кто убивают вещи – дважды преступны, потому что они уничтожают человека, земной след его, память о нем навсегда, окончательно. Те, кто

убивают вещи – убивают время, заколачивают последние окна и отдушины, превращают существование в плоское и невеселое «сейчас». Те, кто убивают вещи, человека уж тем более убьют не задумываясь. На что он нужен-то.

Два маленьких китайца, Лю Шуньфу и Сюй Сюйюн, пропавшие сорок лет назад, ничего не успели сделать в своей короткой жизни. Не доучили тонкостей спектрального анализа, не говоря уж об особенностях интерференции красных полос. Спектр их жизни, вместо радостно ярких разноцветных черточек, схлопнулся в тупую черную темноту.

Что осталось от них? Иероглиф, лак и нетленная роза. Письменность, культура и вечная, вечная природа.

Кто сейчас помнит их имена? Одна благодарная я.

Легкие миры

Как мы были французами

Я, собственно, вполне могла бы родиться француженкой: мои дедушка с бабушкой убежали во Францию в 1919 году. Чемодан – корабль – Марсель. Бежали из Одессы, едва ли не на последнем пароходе, – взятки, давка, крики, потерянные чемоданы, потерявшиеся дети, общая паника. С ними был мой двухлетний папа. Маленький беженец вез с собой пузырек с сухими мухами – любимую игрушку, и волновался за их сохранность: «где мухочки мои?» Мухочки благополучно прибыли в Византию, а потом, вместе с людьми, пересели на пароход, идущий во Францию. Деньги кончились, а ничтожные остатки их бабушка разложила в три конверта: 1) на пароход от Константинополя до Марселя, 2) на поезд от Марселя до Парижа, 3) на буйабес в марсельском порту. А дальше уж – как-нибудь.

Таков русский эмигрант, таков вообще русский человек: пусть позади огонь, смерчи, рухнувшие царства, пусть впереди – нищета и полная неизвестность, но

как же не поесть буйабесу-то. Сойдя на берег, оборванный и в пыли, волоча свое барахлишко, опаленное вселенским пожаром, русский человек бредет в лучшее место на свете – французский ресторан, трактир, бистро. Ибо последней нашей пристанью, наградой за все тяготы, концом всех дорог была и будет Франция. Все европейские пути, как известно, ведут в Рим, а чей-то длинный язык доводит и до Киева, но нам туда не надо. «Вот он, от века назначенный, наш путь в Дамаск», но нам не надо и туда. Нам надо в Париж! Русский мечтатель, руский скиталец перефранцузит всякого француза, перепарижанит любого парижанина: тот живет себе, поживает, и уже никуда не стремится: ну разве что в бутик или в парикмахерскую, а мы стремимся до утраты сил: в Париж, в Париж!

Это наш город, хотя нас никто сюда не звал. Это наша история: и Луи Каторз, и Мария-Антуанетта, и революция с гильотиной, и Шарлотта Корде, убившая Марата в ванне – совершеннейшие свои. Корсиканское чудовище нам как родное: оно стало коньяком и тортиком, уютненько легло в коробочки и бутылочки, а то, что чудовище хотело нас завоевать и при этом сгорела вся Москва, – ай да ладно, ну кто считается? Приходите еще. Или лучше мы к вам.

Это наши вина, это наша еда, – в идеале, конечно. Дома мы уж как-нибудь перебиваемся с водки на картошку, знаем толк в копченой и малосольной рыбке, понимаем тонкости квашения, фыркаем на поддельно-малосольные огурчики, предлагаемые трудолюбивыми кавказскими народами, не знакомыми ни с дубом, ни с хреном, ни со смородиновым листом, малосолим сами. Дома мы печем пироги с капустой, варим щи и борщи, наворачиваем по полной и просим еще и вторую порцию – вкусно же, черт!.. Но это все жизнь земная, здешняя, посюсторонняя. А там, а там, в голубой дымке, на Больших Бульварах, в Латинском квартале, в Пасси, на улице Шерш-Миди, в Сен-Жермен-де-Пре!.. Там такое! Такое!.. Собственно, трудно даже сказать, какое, потому что дело же не только в исходных продуктах – трюфели там, устрицы, гусиная печенка, это уже просто банально, – а в том, как, что и с чем сплетено, в сочетании несочетаемого, в искусстве невозможного, в смелости и тонкости, в особом, что ли, национальном демоне галльского народа: соедините вспыльчивость, скупость, терпение, эгоизм, философичность, чувственность, блеск, взбивайте веселкой полторы тысячи лет, – тогда и будет французская, ни с чем не сравнимая кухня.

Но сколько мы ни перенимаем французские блюда, сколько ни приспосабливаем свой стол к их рецептуре, а все получается не то. Было жарко и душно, и Мегрэ

выпил полный стакан рома, – пишет Сименон. Вот нет другой такой нации, которая стала бы лечить грипп, да еще при температуре под сорок, противным, сладким ромом. По-видимому, их голова болит по-другому. И ход мыслей в ней иной: «а завтра, раз он болен гриппом, мадам Мегрэ приготовит ему крем-брюле». Знаменитый комиссар целый день пересаживается из бара в бар, выпивая тут рюмку кальвадоса, здесь виски, там стакан белого вина, «но редко приходит домой нетрезвым». Наш человек после такого ерша возвращался бы домой на бровях, и его «мадам» встречала бы его словами: «опять нажрался, козел?» Потому что пил бы наш комиссар с целью одуреть, французский же пьет для вкуса. И ест он свою французскую кухню не от случая к случаю, а каждый день. И мадам приготовит ему сегодня «овощной суп, бараньи почки и взбитые сливки», а завтра еще что-нибудь сложное и упоительное, а не будет ворчать: «ешь, что дают».

Моя бабушка в Париже наловчилась не просто готовить, но мыслить французскими категориями. Например, она всегда делала майонез сама. Я тоже пробовала, но мне не хватало ни терпения, ни тонкости. Температурный режим, добавление продуктов по капле – ой, это было не для меня. Моего искусства хватало разве что на то, чтобы сварить таз макарон. И кетчупом сверху, кетчупом. В крепкий и прозрачный мясной бульон бабушка предлагала положить анчоус – по штучке в тарелку. Ну куда же рыбу к мясу? – думала я. Если в холодильнике был один лук, то понятно было, что еды нет. А бабушка делала луковый суп. Украсить желе из сливочного риса грушами, сваренными с сахаром, я и сейчас не решусь. Я так и не родилась француженкой: через четыре года эмиграции наша семья вернулась в страну вареной картошки, и в школе нас учили: человек не живет, чтобы есть, но ест, чтобы жить. А зачем же он живет? – а чтобы бороться за счастье всего человечества. Между тем, счастье всего понимающего человечества – французские сыры – можно без всякой борьбы раздобыть в Париже на каждом углу, а любители ездят на рю Муфтар – на «Муфтарку», как ее называют русские парижане, специальную сырную улицу, знаменитую дешевизной и разнообразием. Там я однажды купила 16 сортов сыра – в память о бабушке и для наступления общего счастья – и храню кассовый чек, на котором напечатано: «Вас обслуживала КАТЕРИНА, которая благодарит вас». Благодарить-то должна я, потому что Катерина, видя мою дремучесть, взялась мною руководить и показала, что надо с чем есть: с вот этим вонюче-портяночным козьим, завернутым в какой-то лист – мармелад из инжира, а вон с тем твердым – хлеб с пряностями, но на самом деле он не хлеб и не с пряностями, а просто так называется, – но на дальнейшее понимание моего французского языка не хватило. (Хлеб оказался кексом со сложнейшим ароматом, из всего состава которого я опознала только апельсиновую цедру.)

Список же сыров на чеке читается, как список гомеровских кораблей: Реблошон, Морбье, Бофор, Кабри Арьежуа, Мотэ, Банон Фёй, Пон-ль-Эвек, – какие-то вечные моря, паруса, проливы, фата-морганы, «старые пристани Европы», далекая голубая дымка над Лютецией, иные зовы, иные люди.

Мы французам совершенно не нужны, а они нам необходимы. Мы к ним стремимся, мы липнем, а они в лучшем случае к нам равнодушны, в худшем – отшатываются. Мы любим чужое, иностранное, а они – свое, французское. Мы знаем: если что – эмигрируем в Париж, сядем на веранде кафе, нога на ногу, будем обмахиваться газетой, – фу, ну слава богу, доехали. Наконец-то мы дома. Так… Что это они тут без нас понастроили? Зачем Бобур, это тут ни к чему. Пирамида во дворе Лувра – ну кто разрешил. Арабов развелось сверх меры – гнать их в шею. Это наше место. Это наш город. Посмотрите, какие чудные мансарды. Вон то окошко – как раз для меня. Я хочу выходить на вон тот балкон. «В дождь Париж расцветает, как серая роза», – писал Максимиллиан Волошин. Зачем же все дома почистили пескоструями, сделав розу белой? Написано: серая, пусть будет серая. Мы лучше знаем. Загубив свои города плесенью и новоделами, мы хотим сохранить Париж таким, каким его воспели наши же поэты. «Ему обещает полмира, а Францию – только себе».

Мне не удалось родиться француженкой: буйабес был давно забыт, денег все не было, есть было нечего, и однажды дед сказал бабушке, чтобы она пошла в аптеку и на последние гроши купила яду на всех: умрем все вместе. Бабушка охотно согласилась, прогулялась к мяснику, купила на все франки бифштексов и они отлично поужинали. В Париже глупо кончать с собой, когда можно поужинать. А потом они все равно вернулись в Россию.

И ничего от нас в Париже не осталось, кроме сухих «мухочек». Они рассыпались в серебряную пыль, и молекулы ее, наверно, и сейчас гоняет ветер над крышами лучшего города, который мы смогли придумать.

Без

Вот что, если бы Италии не было, совсем не было, не случилось бы такого геологического образования в форме сапога, – либо ее залило бы потопом во время оно, либо вся она, с Альпами своими и Аппенинами, розами и лимонами, и

уж заодно, ладно, с Сицилией и Сардинией провалилась бы в синие воды во время землетрясения, и море было бы безвидно и пусто – один Дух Божий носился бы над бездной? Куда бы плавали албанцы, ворующие белье с веревок? Берем карту и тупо смотрим: ближайшее белье на Корсике, вплавь не добраться, да и местные побьют, а впрочем, и местных-то нет, и французов нет, есть галлы, не завоеванные и не облагороженные римлянами; дальше к западу – нет испанцев и португальцев, а все какие-то дикие иберийцы, скорее всего, под властью мавров. Само собой нет румын-молдаван, и в Кишинэу проживают совершенно другие люди, возможно, даже не умеющие стеклить окна и размешивать побелку в ведре. Английский язык, каким мы его знаем, – то есть с семьюдесятью процентами латинской лексики – не существует. Латинских букв тоже нет, все пишем греческими, – ну, положим, разница невелика. Греков очень много, но поскольку римлян нет в природе и завоевать греков некому, то скорее всего вскоре после смерти Александра Македонского их завоевывают персы, – давно хотели. У персов очень неплохо с инженерной мыслью, они чудно мостят дороги и ирригация им не чужда, так что за брусчатку и водопровод беспокоиться не надо. Почта тоже работает бесперебойно, особенно если обслуживает царскую администрацию. Но вот насчет там мраморной скульптуры, мозаики, энкаустики, мелкой всякой бронзовой пластики – хуже. Спору нет, грек вам все изобретет, грек вам все изготовит, построит, напишет и раскрасит, но вот со вкусом как? Персидский вкус все же несколько тяжеловесен. Ляпис-лазурь. Борьба царя со львом. Золотые халаты до полу и шапки стогами в духе бояр Ивана Грозного, общественные нравы таковы же. Самодурство, клокотание темного гнева, всем – на колени, лбами оземь; всех баб под ключ и ни-ни; пленным лопатки просверлить, и на веревочку. А где политическая мысль? Консулы-проконсулы, сенат, партии, патриции, плебеи, республика, наконец? А где римское право? Ау!.. А где театры? Историки? Ораторы? Нешто перс придет в восторг от шума и плеска рассаживающейся театральной публики, – а небо темнеет, олеандр прибавил запаху, и догорает вечерняя звезда Венера, которая и не звезда вовсе… От исторических свитков, от состязательных судебных процессов; нешто он заслушается цицерона какого или – ввиду отсутствия – демосфена какого, зауважает и немедленно заведет у себя подобные учреждения, общественные площадки, где всякий, кому не лень, будет язык-то распускать? На кол, на кол, и форумы зачистить негашеной известью: прощайте, падвы и кучерены! А где бани, где легкие одежды, где бритые подбородки, где виллы с верандами? Где уважаемые женщины, достойные матери достойных граждан? Где соблюдение договоров? Где общественная польза? Поэзия, поэзия где? Сатира!!! Какой перс потерпит сатиру? А частную переписку? А спортивные состязания нагишом? А вольное отношение к богам?

Вычтите из культуры романский стиль и готику; вычтите арки, сводчатые конструкции, замковый камень; вычтите городскую планировку, сады, фонтаны, все европейские города, замки, фортеции, шпили, горбатые мосты, колоннады и атриумы, сотрите весь Петербург, например, и обтрясите с рук его прах, как если бы его и не было. Всё к чертовой бабушке. Возрождение – долой. Джотто, Микельанджело, Рафаэля – вон, вон, вон. Всю живопись забудьте, это был сон. Оперу – прочь, вообще пение прочь, проткните себе барабанные перепонки. Вино вылейте, будете пить ячменное охмурялово.

Данте порвать, Джоконду стереть, Ватикан срыть. Нет ни католиков, ни пап, ни антипап, ни кардиналов, ни святош, ни Галилея, ни Джордано Бруно, ни их мучителей, ни гвельфов, ни гибеллинов, ни Западной Римской империи, ни Восточной, – ведь Запада нет. Совсем никакого Запада нет. Нет гладиаторов и отравительниц. Нет семи римских холмов, нет полосатого Сиеннского собора, ни из одного окна не открываются голубые тосканские дали. На небосклоне нет ни кровавого военного Марса, ни алмазной Венеры. Ничего, ничего нет: ни макарон, ни Феллини, ни пиццы, ни бельканто, ни Пиноккио, ни Софи Лорен, ни слезливого Горького на Капри, ни Синьора Помидора, ни неаполитанских мастифов, ни каррарского мрамора, ни карнавалов, ни соуса песто, ни Ромео-и-Джульетты, ни моццареллы, ни капуччино, ни извержения Везувия, ни гибели Помпеи, ни итальянской мафии, ни итальянской моды, ни Муссолини, ни Армани, ни Понтия Пилата, ни benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui Jesus. Не падает пизанская башня, не тонет Венеция. Нет Катуллова воробышка. Некому открыть Америку. Некому построить московский Кремль.

Гоголю некуда бежать от вселенского Миргорода, негде лечь навзничь на теплую землю и смотреть, смотреть часами в небесную синеву, очищая темную, северную, промозглую свою душу от всего мусора и дряни, что набросала в нее бледная, вялая, толстозадая родина. – «Она моя! Никто в мире её не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – всё мне снилось!.. Кто был в Италии, тот скажи „прости“ другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю… О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай…».

Если Италии нет – о вкусах спорят. Деньги пахнут. О мертвых можно всё. Все дороги ведут в пустоту.

Город

Есть люди, которые живут напротив Манхэттена, за Гудзоном, а в Нью-Йорке никогда не были: страшно. Сумочку могут вырвать. Серьги. Убить могут. Ну и вообще. Ты лег в тихую постельку, завернувшись с головой в одеяло, а за спиной, а за рекой не спит, ворочается, мигает адскими огнями, что-то задумал, что-то проворачивает, куда-то рвется страшный город, черными спицами нацелившийся в красноватое небо.

Эти страхи остались с восьмидесятых годов, когда Нью-Йорк еще был опасным городом, и неопытного приезжего, провинциала – а в отношении Нью-Йорка всякий человек провинциал – предупреждали: в метро не спускаться, людям на улице в глаза не смотреть, в Сентрал-парк после наступления сумерек носа не совать. А этот перекресток опасен? – о, совершенно безопасен, кроме, конечно, юго-восточного угла: там кучкуются торговцы наркотиками; зато остальные три угла – стерильны. Иди спокойно. С провожатым, естественно.

Да и как было не пугаться, если на каждого, кто въезжал в город через мост Джорджа Вашингтона на первом же светофоре совершалось маленькое, но эффективное нападение. Стоило тебе остановиться на красный свет, как сейчас же к машине подскакивал вымогатель с ведерком («обездоленный» в левой терминологии) и выплескивал на переднее стекло воду с мыльной пеной, ослепляя водителя. Водитель вопил, обездоленный мгновенно стирал часть пены скребком и протягивал руку за долларом: я вас обслужил, помыл, платите. Граждане либеральных взглядов («все люди братья») платили, чувствуя вину за свое благополучие; господа консерваторы («если он не пропил урожаю») лаяли, включали дворники, трясли кулаком, – а что толку, те и другие были равно обезображены пролетарской эякуляцией.

Нельзя было войти в банк, не отпихнув локтем попрошайку, нельзя пройти квартала, не переступив через бездомного, устроившегося поспать на вентиляционной решетке метро, в слабом потоке теплого воздуха. Потом пришел новый мэр, и всех их куда-то дели. Так что теперь пугливые люди из-за Гудзона могут приехать и спокойно прогуляться по ужасному и прекрасному Нью-Йорку. С оглядкой, естественно.

Некоторые жалеют, что городское дно более не явлено их глазам, человеческая палитра обеднела. Спору нет, дно колоритно, но ведь точно так же устроены и все прочие бесчисленные слои яростного города. На любом уровне, вплоть до самого недосягаемо высокого, люди заняты все тем же: кто впаривает тебе ненужные, но соблазнительные услуги (дизайнерскую одежду, роскошные автомобили, современное искусство), кто сплел сложную сеть налогов, поборов, кредитов и финансовых ловушек и подергивает за паутинку, а кто улегся на тепленькое местечко и не подвинется, не беспокойте его. На грязно-торговом Бродвее, в нижнем течении, где продают ту же дрянь, что в московских подземных переходах, стоит угольно-черный негр в вязаной шапочке и беспрерывно бормочет: «Ролекс, Ролекс, Мовадо, Мовадо, гуд прайс…», а пятьюдесятью улицами выше то же самое воркует его собрат в сверкающем, бронированном магазине – хочешь, пойди и послушай его, и если у тебя большое эго, ты отдашь большие деньги. С колебанием, естественно.

Нью-Йорк – то место, где напирают, сталкиваются и карабкаются, обрываются – и снова карабкаются вверх, напирая, самые амбициозные, самые живучие, самые о себе возомнившие. Они напирают уже сто лет, и манхэттенский архитектурный частокол – зрительный образ этой страшной энергии, вечно растущий коралловый риф, продукт особого метаболизма воли. С какой стороны на него ни глянешь – через Гудзон или через Ист-ривер, с океана или с вертолета – Манхэттен потрясает: смотрите, смотрите, вон как его выперло! Густой лес фаллических символов – бутылочные ерши, стамески, напильники, сверла, паяльники с жабрами, светящиеся ночью, днем горящие яркой медью, зеленым золотом, голубоватым горным хрусталем; на вершинах громоздятся еще вершины, на вознесенных под небеса плоских крышах выстроены целые поместья: дома, заборы, сады; груды окон осыпаются с вершин в каменные долины, превращаясь там, внизу, в исполинские, пятиэтажные ворота витрин, набитых соблазнами; жизнь копошится по всей вертикали, гнездится на всей «подвижной лестнице Ламарка»: сложной резьбой, львиной, бараньей или девичьей головой будет украшена какая-нибудь балка или карниз на пятидесятом этаже, там, где увидеть ее сможет только чайка или сосед в доме напротив, а прохожий – никогда. Никогда. Но зато он увидит то, чего не видят верхние, подоблачные жильцы: он увидит, как чугунное тесто, застывая, просочилось, разыскало щели и трещины и вылезло наружу шишками, надолбами, крюками, решетками, столбиками для привязывания невидимого людям транспорта, какими-то цепями, какими-то замками, какими-то рамами; он пройдет по гулким люкам и железным листам, прикрывающим таинственные полупустоты различного назначения, ногами он ощутит дрожь и судорогу пронесшегося подземного поезда и подумает, что под Манхэттеном, рвущимся к

синему небу, лежит Манхэттен утробный, подземный, уходящий в глубину – бог знает, на сколько этажей. Инь и Ян, корни и стволы, и ветки, и почки, и плоды, всё сразу.

Сюда надо привозить больных, расслабленных, потухших, потерявших интерес к жизни. Пусть хоть разозлятся! Пусть хоть позавидуют! Пусть хоть проклянут, – неважно, – кровь закипит, глаза засверкают, кулаки сожмутся: ух, я бы их всех! Очень хорошо, больной: вот вы уже и зашевелились. А потом поднять его на девяностый этаж на скоростном, хорошо пахнущем лифте и показать ему все богатства, всю славу земную, как в свое время Сатана показывал Христу. Господь не взял, не соблазнился, отверг, так на то он и Сын Божий. Зачем ему?

А люди вот взяли.

Им-то надо.

А кому не надо – всегда можно устроиться в тайгу лесничим.

Нехоженая Греция

– За что вы любите Грецию?

– Ну уж во всяком случае не за истоптанные туристами места. Я имею в виду не «достопримечательности» – тут уж ничего не скажешь, Акрополь и правда упоителен, а Дельфы прекрасны до слез, до настоящих слез, когда теснится дыхание, – я имею в виду те стандартные, обычно приморские загоны, куда турбюро сгребают путешественников со всего света и говорят: вот вам море, вот песочек, вот бар с громкой музыкой, enjoy, будем считать, что это Греция. Если нетребовательного туриста устраивает игра в подкидного на пляже, много-много пива и несвежее море с плавающими полиэтиленовыми пакетами, которые он сам же и бросил с борта корабля, то эти заповедники он найдет безо всяких рекомендаций.

– А что, много бросают мусора в море?

– Яичко на Босфоре облупил, скорлупу за борт, – а она тебе же на Родосе в рожу. Штормом принесет.

– А что бы вы посоветовали требовательному путешественнику?

– Это, конечно, зависит от бюджета. Но самое первое, что совершенно необходимо и на чем наши неразумные туристы всегда экономят – это карта. Надо купить самую обычную туристическую карту, они продаются на каждом углу. Выбрать надо самую подробную, долларов за пять. А еще лучше не поскупиться и на подробный общий путеводитель. За 20 долларов вы купите себе знания и свободу, сбережете время, да и те же деньги. Тогда вы сразу поймете, где вы находитесь, и куда вам ехать, и как. И если вы в Греции впервые, и ничего не знаете, и боитесь запутаться, что совершенно естественно, то можно, например, сделать так: пойти в книжный магазин или в обычную туристскую лавку, коих множество, – они тоже торгуют хорошими прекрасно иллюстрированными справочниками, – и там спокойно пролистать эти справочники, выбирая место, куда вам хотелось бы поехать. Книги сейчас есть и на русском языке – довольно уморительном, но внятном. Эти иллюстрированные справочники даже не обязательно покупать: вы составите себе представление о городе или острове, а потом по путеводителю сориентируетесь. Может быть, это совсем близко, и можно поехать на автобусе. А может быть, это на другом конце страны, и лучше взять машину напрокат – что я очень рекомендую. С машиной вы можете за неделю объехать всю страну и увидеть столько, сколько другой в десяти странах не увидит. Все дикие пляжи – ваши, все горные перевалы – ваши, все сосновые леса – ваши, все маленькие монастыри, спрятавшиеся в лесах и на горах, – ваши. В каких-нибудь пяти километрах от города – тишина такая, что в ушах звенит. Впрочем, это звенят цикады – днем и ночью. Но пять километров – это если речь идет о большом городе, а на самом деле иногда и пятисот метров достаточно, особенно если вы забираетесь на гору. Или просто в сторону от шоссе по узкой, петляющей дороге. Никого, только цветы, колючки и ветер, и всегда внизу море сверкает – синее, как в раю. И в море – острова, такие розоватые, как пенка какао. И такое впечатление, что страна пустая, ненаселенная, только птицы, звери, неизвестно чья коза с колокольчиком, и боги, всюду боги, и в ветре, и в скалах, и в сосновых рощах. Иногда это божественное присутствие так сильно, что, кажется, быстро обернешься – и поймаешь краем глаза край мелькнувшей эфирной одежды. Однажды мы, путешествуя так, забрались в долину Амфиарая. Это пустынное место в Аттике, на берегу моря, в сосновом лесу. Аттика – сухая, красная, скалистая, а тут – свежая долина, душистый ветер с моря, пахнет соснами. И сосны южные – с длинными и мягкими шелковистыми иголками. Там в древности находился храм

Асклепия, бога врачевания, а сейчас – развалины, археологический участок и музей. И совершенно ясно, что там должен быть храм, он сам туда просится. Больные приходили в храм и ночевали в нем, во сне им являлся Асклепий и исцелял их или же давал советы. Кстати, один современный английский археолог, который в Асклепия совершенно не верил, а только в археологическую науку, тем не менее решил переночевать в развалинах храма и посмотреть, что будет. Проверить Асклепия на вшивость.

– И что было?

– Он пишет, что действительно ему явился во сне оскорбленный Асклепий. И наорал на него: «Пшел вон отсюда!.. Дрянь такая!..»

– …Вы говорите: «всегда видно море». Это преувеличение?

– Можно объехать почти всю страну по ободку, не удаляясь от моря больше, чем на несколько минут езды. Или же забраться высоко на гору и увидеть не одно море, а два. А в море всегда виден остров, а с него – другой, а с другого – третий.

– Хорошо, допустим вы наняли машину и отправились путешествовать по Греции. Сколько это стоит и где вы будете ночевать, где и что будете есть?

– Греция – все еще дешевая страна. Цены очень зависят от сезона и от того, в каком бюро вы будете нанимать машину. Но надо рассчитывать приблизительно на 30—50 долларов в день, в зависимости от класса машины, если же вы берете ее на три дня – неделю, обязательно будет скидка. Можно и нужно торговаться. И то, что вы потратите на машину, вы сэкономите на гостинице. Ночлег вы найдете всегда, даже в пик сезона. В людных, туристских местах будет дорого или все занято, но, опять-таки, шаг в сторону – и к вашим услугам пансионаты, комнаты в чистых домиках с белоснежным бельем и ласковыми бабушками, с душем, с завтраком – за 10—20 долларов за ночь. И опять-таки, вместо стандартного номера с видом из окна на немца, пьющего пиво, вы будете каждый день ночевать в настоящем греческом доме с домотканными кружевными занавесками, с запахом кофе и сухих трав, с синими или зелеными ставнями. Или же в маленькой гостинице, стоящей в стороне от шума, ночных воплей, доносящихся из дискотеки, от грохота мотоциклов. Главное – у вас будет выбор: не понравился этот дом или хозяйка, перейдете улицу и постучите в другой. Вы

легко найдете эти домашние гостинички по надписи «Rooms for rent» или иногда «Bed and breakfast». Не нравится тишина и узкие улочки, не нравятся белые домики с синими ставнями, не нравятся маленькие площади, где на плетеных стульях сидят десять мужчин, играя в нарды, попивая кофе и перебирая четки, – а некоторым не нравится, – тогда надо ехать в типично туристское место.

– А как выглядит типично туристское место?

– Многокилометровая цепь «пансионатов» вдоль моря. Сначала полоса пляжа – лежбище котиков, потом «эспланада» – попросту говоря, бетонная набережная с кофейными, сувенирными, пляжными лавками, потом полоса гостиниц, и наконец – шумная проезжая дорога с грузовиками и мотоциклами. Круглосуточная оглушающая музыка, макдоналдсы или их греческие собратья, пицца-хаты, бары, магазины с чудовищными сувенирами, 90 процентов которых изготовлено на Тайване, открытки, вазы, сандалии, пряности, губки, куклы, вино, бусы, золото, жареная картошка, проявка фотопленок, надувные круги для плавания, снова золото, снова вазы, визг, бетон, жара, теснота, автобусы, увозящие осатанелых туристов вон из этого ада. Все дорого, все не очень-то вкусно, все утомительно. Хорошо, если туристу повезло, и он попал в живописный городок, где хотя бы горы подступают к морю и где невозможно проложить трассу для грузовиков. Или если он живет на краю деревни. Но ведь некоторые равнодушные турбюро таких деталей не сообщают, не предупреждают, что ждет путешественника. А хорошо бы, чтобы предупреждали. Это им же выгоднее. Ведь я знаю многих, кто неудачно съездил в Грецию – неудачно! в Грецию! звучит немыслимо, – и больше не поедут. То есть жадное турбюро быстро хапнуло вашу денежку и сунуло вас куда попало, не заботясь ни о вашем, ни о своем будущем. А то, что человек весь отпуск чувствовал себя, как в подземном переходе на Павелецкой в июле, думают они, – так он перетопчется.

– Скажите, а пляжи платные?

– Пляжи бесплатные. Более того, в Греции существует закон, по которому вся прибрежная полоса – общественная. И это относится даже к частным островам. Скажем, у покойного Онассиса был собственный остров. Но любой человек мог на него высадиться и валяться на миллионерском песочке. Метра три, что ли, от кромки моря, – точно не помню, но на всех хватит. А вот за пользование зонтиками и лежаками надо платить. Это долларов пять. Иногда дешевле купить собственный раскладной зонтик и приносить с собой. А также легкую циновку –

стоит она меньше доллара. Все это повсюду продается. Часто вдоль песчаной полосы растут тамариски. Это дерево, дающее чудесную легкую тень, под ним не обгоришь. Но они растут на песке, а если пляж галечный, то там обычно голо. Если вы идете на пляж, надо взять с собой денег на зонтик и лежак. К вам подойдут, и вы заплатите. Берите квитанцию, потому что, бывает, подойдет жулик и соберет деньги раньше, чем настоящий сборщик… Если же вы сами – жулик и забрались на пляж, где зонтики бесплатно предоставлены прибрежной гостиницей, и валяетесь там, как будто так и надо, то это на ваше усмотрение. Еще надо взять денег на воду – доллар, два. (То есть, конечно, не доллар, а драхмы, долларов в Греции не берут. Это я для простоты счета.) Причем, если это не дикий пляж, то на нем обязательно будет продаваться ледяная и очень вкусная вода. Не стоит заранее покупать ее и приносить с собой: вода сейчас же нагреется. Больше ничего не надо, если вы не собираетесь пить кофе или обедать на берегу.

– А что, могут обжулить?

– В общем, как и повсюду, где много туристов. Например, вы даете бумажку в 5000 драхм (около 8 долларов), а вам дадут сдачи, как с 500. Или цену взвинтят, или блюдо приготовят спустя рукава: обрезков насуют. Хотя это уже не жульничество, а просто бывают же скобари и криворукие. Но это случается нечасто, хотя, может быть, просто со мной случалось нечасто, потому что я знаю, где надо есть, а где не надо.

– Так расскажите же, где надо, а где не надо.

– Здесь опять-таки работает общее правило: там, где туристы идут плотным косяком, кормят хуже и дороже. Из этого правила, конечно, есть существенные исключения, но тут уж места надо знать. Все кафе и рестораны европейского типа, с европейским меню, с преобладанием надписей по-английски, расположенные на шумных центральных улицах, скорее всего, предложат что-то очень средненькое (по греческим меркам, конечно, потому что греки так любят вкусно поесть и настолько знают толк в еде, что в Греции практически невозможно съесть дрянь). Все макдоналдсы и прочая механическая штамповка пищи – долой. Хотя в Греции и они, по рассказам (я туда из принципа – ни ногой), лучше, чем где-либо, потому что и мясо без химии, и овощи лучше, и даже пиво «Амстель», которое делается в Греции, вкуснее, чем повсюду, потому что делается на очень хорошей родниковой воде. Тем не менее не затем вы приехали, чтобы идти в Макдоналдс. Если вы хотите настоящего, надо идти в

таверну. На ней так и написано: ΤΑΒΕΡΝΑ, как по-русски, только, конечно, «Н» другое. Часто это ничем не приметное здание, ни витрины, ни блеска, просто глухая стена с деревянной дверью. Или – через окно видно – как заводская столовка, столы простые с клеенками, лампочки в бумажных колпаках. Вот туда вам и надо. Правило буравчика: иди туда, куда грек идет, не пожалеешь. Он же себе не враг, Биг Мак не съест. Идти на ужин надо часам к 8, а то и к 9 вечера, а днем таверны закрыты. Можно в 10. Отворив неприметную дверь, вы оказываетесь либо в этой самой столовке, либо в саду (что летом – отрада), либо в большом зале. В основном вокруг вас – греки, пришедшие семьями, с малыми детьми. Таверны дешевы, а дома еще готовить, возиться, покупать, посуду мыть! Вы можете заказать себе основное блюдо, но это неинтересно. Интереснее заказать пять-шесть-семь-восемь небольших блюд и все перепробовать. Десять, если на то пошло. Двенадцать. Имеет смысл идти в таверну большой компанией, тогда вы закажете хоть все по списку, и всем достанется, и все попробуете. Невкусных блюд в таверне просто не бывает. Берут обычно так: салат «хориатико» один на всех (большая миска с огурцами, помидорами, луком, брынзой, маслинами, иногда зеленым перцем, все заправлено изумительным оливковым маслом). Жареную картошку горкой («пататес»). Хлеб – свежий, не из полиэтилена – принесут. Воду и домашнее вино, белое или красное (часто красным называют розовое). Вино в каждой таверне свое, и оно исключительно дешево, но не всегда лучшего качества. Вино в бутылках – хорошее, но сильно дороже. Разливное вино меряется на «кило». Можно взять «полкило» вина – его принесут в металлическом сосуде, вроде кружки, и если не понравится – ну, попросите другое. Обычно белое разливное в тавернах бывает лучше красного, и оно подается холодным. Кто любит смолистый вкус – заказывает «рицину» (она дешевле пива). Дальше берут так: зеленый салат, вареную горьковатую траву («хорта», всюду своя), «дзадзики» (йогурт, свежий огурец, чеснок, травки), салат из баклажанов (растертых в белую пасту), «тарамасалата» (намазка из растертой икры и еще чего-то морского), «кефтедес» (котлетки), «псевдокефтедес» (те же котлетки, но ловко сделанные из овощей, не догадаешься), «фава» (особый растертый горох, с луком и чесноком), долма (понятно), кабачки и баклажаны, обжаренные в тесте, «гемиста» (фаршированные рисом овощи: помидоры, перец), фасоль в томате, всевозможные мясные тефтельки, поджарки, подливки, перечислять которые бессмысленно, потому что их множество и всюду их готовят по-разному. Изобильный обед с вином (залейся) обойдется в десять долларов. Можно взять и десерт, самый легкий – это фрукты, обычно есть и йогурт с медом и орехами, а для худых – баклава и кадаиф (та же баклава, но не пластинками, а как бы волосами). Кофе, конечно. Вечером в тавернах играет музыка, часто ходит средь столиков какой-нибудь давно безголосый старик с огнем в глазах и

национальным инструментом в руках и играет вам прямо в ухо якобы национальные песни. Если вы их благосклонно выслушали – надо немного заплатить (300 драхм, то есть доллар), а если жалко – не поворачивайтесь к нему и не улыбайтесь приветливо. Делайте вид, что вы увлечены беседой – он отойдет. Можно сделать легкий жест рукой: мол, не надо. Другой раз, дескать. У таких стариков глаз – алмаз: приметив издалека, что вы русский, он подойдет услаждать ваш слух «Подмосковными вечерами» или «Выходиланаберегкатюшей». Трогательно, но не стоит доллара.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/tatyana-tolstaya/reka-sbornik-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити